

Всеволод Михайлович Гаршин

Надежда Николаевна



Всеволод Гаршин
Надежда Николаевна

«Public Domain»

1885

Гаршин В. М.

Надежда Николаевна / В. М. Гаршин — «Public Domain», 1885

«Я давно хотел начать свои записки. Странная причина заставляет меня взяться за перо: иные пишут свои мемуары потому, что в них много интересного в историческом отношении; другие потому, что им еще раз хочется пережить счастливые молодые годы; третьи затем, чтобы покляузничать и поклеветать на давно умерших людей и оправдаться перед давно забытыми обвинениями. Ни одной из этих причин у меня нет. Я еще молодой человек; истории не делал и не видел, как она делается; клеветать на людей незачем и оправдываться мне не в чем. Еще раз пережить счастье? Оно было так коротко, и конец его был так ужасен, что воспоминания о нем не доставят мне отрады, о нет!...»

Содержание

I	5
II	7
III	9
IV	12
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Всеволод Михайлович Гаршин

Надежда Николаевна

I

Я давно хотел начать свои записки. Странная причина заставляет меня взяться за перо: иные пишут свои мемуары потому, что в них много интересного в историческом отношении; другие потому, что им еще раз хочется пережить счастливые молодые годы; третьи затем, чтобы покляузничать и поклеветать на давно умерших людей и оправдаться перед давно забытыми обвинениями. Ни одной из этих причин у меня нет. Я еще молодой человек; истории не делал и не видел, как она делается; клеветать на людей незачем и оправдываться мне не в чем. Еще раз пережить счастье? Оно было так коротко, и конец его был так ужасен, что воспоминания о нем не доставят мне отрады, о нет!

Зачем же точно неведомый голос нашептывает мне их на ухо, зачем, когда я просыпаюсь ночью, передо мною в темноте проходят знакомые картины и образы, и зачем, когда является один бледный образ, лицо мое пылает, и руки сжимаются, и ужас и ярость захватывают дыхание, как в тот день, когда я стоял лицом к лицу с своим смертельным врагом?

Я не могу отделаться от своих воспоминаний, и странная мысль пришла мне в голову. Может быть, если я изложу их на бумаге, я этим покончу все свои счеты с ними... Может быть, они оставят меня и дадут спокойно умереть. Вот странная причина, заставляющая меня взяться за перо. Может быть, эта тетрадка будет прочтена кем-нибудь, может быть – нет. Это мало занимает меня. Поэтому я могу и не извиняться перед своими будущими читателями ни в выборе темы для своего писания, темы, нисколько не интересной людям, привыкшим заниматься если не мировыми, то общественными вопросами, ни в форме изложения. Правда, мне хочется, чтобы эти строки прочел один человек, но этот человек не осудит меня. Ему дорого все, что меня касается. Этот человек моя сестра.

Отчего она сегодня так долго не идет? Вот уже три месяца, как я пришел в себя после того дня. Первое лицо, которое я увидел, было лицо Сони. И с тех пор она проводит со мной каждый вечер. Это сделалось для нее какой-то службой. Она сидит у моей постели или у большого кресла, когда я в силах сидеть, разговаривает со мною, читает вслух газеты и книги. Ее очень огорчает, что я равнодушен к выбору чтения и предоставляю его ей.

– Вот, Андрей, в «Вестнике Европы» новый роман: «Она думала, что это не так».

– Хорошо, голубчик, будем читать «Она думала, что это не так».

– Роман миссис Гей.

– Хорошо, хорошо...

И она начинает читать длинную историю о каком-то мистере Скрипле и мисс Гордон и после первых двух страниц обращает на меня свои большие добрые глаза и говорит:

– Это недолго; «Вестник Европы» всегда сокращает романы.

– Хорошо, хорошо. Я буду слушать.

Она продолжала читать обстоятельную историю, выдуманную госпожою Гей, а я смотрю на ее опущенное лицо и не слушаю назидательной истории. И иногда, в тех местах романа, где, по замыслу госпожи Гей, нужно бы было смеяться, горькие слезы душат мне горло. Она оставляет книгу и, посмотрев на меня проницательным и боязливым взглядом, кладет мне на лоб свою руку.

– Андрей, милый, опять... Ну, будет, будет. Не плачь. Все пройдет, все забудется. . – говорит она тем тоном, каким мать утешает ребенка, набившего себе на лбу шишку. И хотя

моя шишка пройдет только с жизнью, которая – я чувствую – понемногу уходит из моего тела, я все-таки успокаиваюсь.

О моя дорогая сестра! Как я чувствую цену этой женской ласки! Да благословит тебя Бог, и пусть черные страницы начала твоей жизни, страницы, на которых вписано мое имя, – сменятся радостной повестью счастья!

Только пусть эта повесть не будет похожа на утомительное повествование миссис Гей.

Звонок! Наконец-то! Это она; она придет, внесет в мою темную и душную комнату запах свежести, нарушит ее молчание тихою, ласковою речью и осветит ее своею красотою.

II

Я не помню своей матери, а отец умер, когда мне было четырнадцать лет. Мой опекун, дальний родственник, перевел меня в одну из петербургских гимназий; через четыре года я кончил в ней курс. Я был совершенно свободен; опекун, человек, занятый своими огромными делами, в своих заботах обо мне ограничивался только выдачей мне денег, в количестве, по его мнению, необходимом для того, чтобы я не бедствовал. Это был не очень большой доход, но совершенно избавлявший меня от забот о куске хлеба и позволивший мне выбрать себе дорогу.

Выбор был сделан давно. Лет четырех я любил больше всего на свете возиться с карандашами и красками, а к концу курса в гимназии рисовал уже очень порядочно, так что без всяких затруднений поступил в Академию художеств.

Был ли у меня талант? Теперь, когда я уже никогда не подойду к холсту, я, кажется, могу беспристрастно взглянуть на себя как на художника. Да, у меня был талант. Я думаю так не по отзывам товарищей и знатоков, не по быстроте, с какою я прошел курс академии, а по тому жившему во мне чувству, которое являлось всякий раз, когда я начинал работать. Тот, кто не художник, не может испытать тяжелого и сладкого волнения, с каким первый раз приступаешь к новому холсту, чтобы начертить на нем свое создание. Тот, кто не художник, не может испытать забвения всего окружающего, когда дух погружен в образы... Да, у меня был талант, и я вышел бы недюжинным живописцем.

Вот они висят по стенам – мои холсты, этюды и эскизы, неоконченные, начатые картины. Вот и она... Нужно попросить сестру, чтобы ее убрали в другую комнату. Или нет, нужно повесить ее как раз в ногах моей постели, чтобы она всегда смотрела на меня своим грустным, как будто чующим казнь, взором. В синем платье, в нарядном белом чепчике с большой трехцветной кокардой сбоку, с выбившимися из-под его белой оборки густыми волнующими меня прядями темно-каштановых волос, она смотрит на меня, как живая. О Шарлотта, Шарлотта! Благословлять или проклинать тот час, когда мне пришла в голову мысль написать тебя?

А Бессонов был всегда против этого. Когда я в первый раз сказал ему о своем намерении, он пожал плечами и недовольно усмехнулся.

– Шальные вы люди, господа российские живописцы, – сказал он. – Мало у нас своего! Шарлотта Корде! Какое вам дело до Шарлотты? Разве вы можете перенести себя в то время, в ту обстановку?

Может быть, он был и прав... Но только образ французской героини так занимал меня, что я не мог не приняться за картину. Я задумал написать ее во весь рост, одну, стоящую прямо перед зрителями, с глазами, устремленными перед собой; она уже решилась на свой подвиг-преступление, и это написано только на ее лице: рука, которая несет смертельный удар, пока еще висит бессильно и нежно выделяется своею белизною на темно-синем суконном платье; кружевная пелеринка, завязанная накрест, оттеняет нежную шею, по которой завтра пройдет кровавая черта... Я помню, как ее образ создался в моей душе... Я прочел ее историю в одной сентиментальной и, может быть, лживой книге, у Ламартина; из ложного пафоса болтливой и любующегося своим языком и манерой француза для меня ясно и отчетливо вышла чистая фигура девушки – фанатика добра. Я перечитал о ней все, что мог достать, пересмотрел несколько ее портретов и решил написать картину.

Первая картина, как первая любовь, овладевает душою вполне. Я носил в себе этот слававшийся образ, я обдумывал мельчайшие подробности и дошел, наконец, до того, что, закрыв глаза, мог ясно представить себе свою Шарлотту.

Но, начав картину со счастливым страхом и радостным волнением, я сразу встретил неожиданное и трудно одолимое препятствие: у меня не было натурщицы.

То есть они, собственно говоря, были. Я выбрал, как, мне показалось, наиболее подходящую из нескольких особ, занимающихся этим делом в Петербурге, и начал усердно работать. Но, боже мой, как не похожа была эта Анна Ивановна на взлелеянное мною создание, так ясно представлявшееся моим закрытым глазам! Она позировала прекрасно, она не шевелилась по часу и добросовестно зарабатывала свой рубль, чувствуя большое удовольствие от того, что ей можно было стоять на натуре в платье и не обнажать своего тела.

– Так хорошо это в платье позировать! А то другие уж смотрят, смотрят, всю-то глазами обыщут... – сказала она мне со вздохом и легкой краской на лице на первом сеансе.

Она сделалась натурщицей всего только месяца два и не могла еще привыкнуть к своему ремеслу. Русские девушки, кажется, и никогда не могут к нему привыкнуть.

Я написал ее руки, плечи и стан, но когда принялся за лицо, отчаяние овладело мною. Пухленькое молодое лицо, с немного вздернутым носом, добродушными серыми глазками, доверчиво и довольно жалобно смотревшими из-под совершенно круглых бровей, заслонило мою мечту. Я не мог пересоздать эти неопределенные и мелкие черты в то лицо.

Я бился с своей Анной Ивановной три или четыре дня и, наконец, оставил ее в покое. Другой натурщицы не было, и я решился сделать то, чего во всяком случае делать не следовало: писать лицо без натуры, из головы, «от себя», как говорят художники. Я решился на это потому, что видел в голове свою героиню так ясно, как будто бы я видел ее перед собой живою. Но когда началась работа, кисти полетели в угол. Вместо живого лица у меня вышла какая-то схема. Идеи не доставало плоти и крови.

Я снял холст с мольберта и поставил его в угол лицом к стене. Неудача сильно поразила меня. Помню, что я даже схватил себя за волосы. Мне казалось, что и жить-то не стоит, задумав такую прекрасную картину (а как она была хороша в моем воображении!) и не будучи в состоянии написать ее. Я бросился на кровать и с горя и досады старался заснуть.

Помню, что, когда я уже забывался, позвонили: почтальон принес письмо от кузины Сони. Она радовалась тому, что я задумал большую и трудную работу, и жалела, что так трудно найти натурщицу. «Не пригжусь ли я, когда кончу институт? Подожди полгода, Андрей, – писала она, – я приеду к тебе в Петербург, и ты можешь писать с меня хоть десять Шарлотт Корде... если только во мне есть хоть капля сходства с тою, которая, как ты пишешь, теперь владеет твоею душой».

Соня совсем не похожа на Шарлотту. Она неспособна наносить раны. Она любит больше лечить их и чудесно делает это.

И меня бы она вылечила... если бы это было возможно.

III

Вечером я вышел к Бессонову.

Я вошел к нему, когда он сидел, согнувшись над своим, заваленным книгами, рукописями и вырезками из газет, письменным столом. Рука его быстро ходила по бумаге: он писал очень скоро, без помарок, мелким и ровным кудреватым почерком. Он мельком взглянул на меня и продолжал писать; упорная мысль, видимо, владела им в эту минуту, и он не хотел оторваться от работы, не передав ее бумаге. Я сел на широкий, низкий и очень потертый диван (он спал на нем), стоявший в тени, и минут пять смотрел на него. Его правильный, холодный профиль мне был хорошо знаком: не раз я зачерчивал его в свой альбом, однажды даже написал с него этюд красками. Этого этюда у меня нет: он послал его матери. Но в этот вечер, потому ли, что я уселся в тени, а он был хорошо освещен ярко падавшим на него светом лампы с зеленым стеклянным абажуром, или потому, что нервы у меня были расстроены, его лицо как-то особенно привлекало мое внимание. Я смотрел на него и разбирал его голову по деталям, исследовал малейшие черты, до сих пор ускользавшие от меня. Его голова была бесспорно головой сильного человека. Может быть, не очень талантливого, но сильного.

Четвероугольный череп, почти без изгиба переходивший в широкий и мощный затылок; круто спускавшийся и выпуклый лоб; брови, опущенные на середине и сжимавшие кожу в вертикальную складку, сильные челюсти и тонкие губы – все это казалось мне сегодня чем-то новым.

– Что вы на меня так смотрите? – вдруг спросил он, положив перо и оборачиваясь ко мне лицом.

– Почему вы узнали?

– Я чувствовал. Кажется, это не предрассудок; мне не раз приходилось испытывать подобное.

– Я смотрел на ваше лицо как на модель. У вас преоригинальная голова, Сергей Васильевич.

– Право? – сказал он с усмешкою. – Ну и пусть ее.

– Нет, серьезно. Вы на кого-то похожи. . из знаменитых. .

– Мошенников или убийц? – спросил он меня, не дав кончить. – Я в Лафатера не верю... Ну, что вы? По лицу вижу, что плохо. Не выходит?

– Да, не совсем хорошо. Бросил, совсем бросил... – ответил я отчаянным голосом.

– Я так и думал. Что ж, у вас, должно быть, натуры нет?

– Нет, нет и нет. Вы знаете, Сергей Васильевич, как я искал. Но все это до такой степени не то, что просто хоть в отчаяние приходи. Особенно эта Анна Ивановна; она меня совсем измучила. Она стерла своей плоской физиономией решительно все. Право, даже кажется, что и в голове-то у меня теперь тот образ не так ясен.

– А был ясен?

– О да, совершенно! Если бы можно было писать с зажмуренными глазами – право, кажется, ничего лучшего не нужно. С закрытыми глазами – она здесь, вот она.

И я, должно быть пресмешным образом, зажмурился, потому что Бессонов расхохотался.

– Не смейтесь; я серьезно огорчен, – сказал я.

Он вдруг оборвал свой смех.

– Огорчены, так не буду. Но, право, с вами смех и горе. Не я ли вам говорил: бросьте этот сюжет!

– Я и бросил.

– А сколько работы, траты нервной силы, сколько напрасного огорчения теперь! Я знал, что это так выйдет. И не потому, чтобы я предвидел, что вы не найдете модели, а потому,

что сюжет-то неподходящий. Надо это в своей крови иметь. Надо быть потомком тех людей, что пережили и Марата, и Шарлотту Корде, и все это время. А вы что? Мягчайший русский интеллигент, вялый, слабый! Надо быть самому способным на такой поступок. А вы? Можете ли вы, когда нужно, бросить кисть и, выражаясь высоким слогом, взять кинжал? Ведь это для вас нечто вроде путешествия на Юпитер...

– Я не раз с вами спорил об этом, Сергей Васильевич, и, кажется, ни мне вас, ни вам меня не убедить. Художник на то и художник, чтобы уметь поставить в себя вместо своего я – чужое. Разве Рафаэлю нужно было быть Богородицей, чтобы написать Мадонну? Ведь это абсурд, Сергей Васильевич.

Впрочем, я себе противоречу: я не хочу с вами спорить, а сам начинаю.

Он хотел что-то сказать мне, но махнул рукой.

– Ну, бог с вами! – сказал он, встал и начал ходить по комнате из угла в угол, мягко ступая войлочными туфлями. – Не будем спорить. Не будем растревлять мы язвы сердца тайной, как сказал кто-то и где-то.

– Кажется, никто и нигде.

– А и то может быть. Стихи я обыкновенно перевираю... Для утешения не приказать ли самоварчик? Пора ведь.

Он подошел к двери и громко крикнул, как кричат на ротном ученье:

– Чаю!

Я не люблю его за эту манеру обращаться с прислугой. Мы долго молчали. Я сидел, откинувшись на подушки дивана, а он все ходил и ходил. Казалось, он думал что-то... И наконец, остановившись передо мною, он спросил деловым тоном:

– А если бы у вас была натура, вы бы попробовали еще раз?

– Еще бы! – уныло проговорил я. – Да где ее возьмешь?

Он опять походил немного.

– Видите ли, Андрей Николаевич... Есть тут одна... особа...

– Если важная, то она не станет позировать.

– Нет, не важная, очень неважная. Но... очень, очень большое имею я при этом «но».

– Да какие тут «но», Сергей Васильевич? Если вы не шутите?

– Шучу, шучу, этого нельзя...

– Сергей Васильевич... – сказал я умоляющим тоном.

– Послушайте, что я вам скажу. Знаете, что я ценю в вас? – начал он, остановившись передо мной. – Мы с вами почти ровесники, я старше года на два. Но я изжил и переиспытал столько, сколько вам придется изжить и переиспытать, вероятно, еще в десять лет. Я не чистый человек, злой и... развратный (он резко отчеканил это слово). Есть многие развратнее меня, но я считаю себя виновнее. Я ненавижу себя за то, что не могу быть таким чистым, каким бы я хотел быть... как вы, например.

– О каком разврате и о какой чистоте говорите вы? – спросил я.

– Я называю вещи их собственными именами. Я часто завидую вам, вашему спокойствию и чистой совести; я завидую тому, что у вас есть... Ну, да это все равно! Нельзя и нельзя! – перебил он сам себя злым голосом. – Не будем говорить об этом.

– Если нельзя, то хоть объясните, что или кто у меня есть? – спросил я.

– Ничего... Никого... Да, Впрочем, я скажу: сестра ваша, Софья Михайловна. Ведь она сестра не очень близкая по родству?

– Троюродная, – отвечал я.

– Да, троюродная. Она ваша невеста, – сказал он утвердительным голосом.

– Вы почему знаете? – воскликнул я.

– Знаю. Догадывался сначала, а теперь знаю. Узнал от матери, недавно она мне писала, – а она там как-то... Разве в губернском городе не все известно всем? Ведь правда? Невеста?

– Ну, положим.

– И с детства? Родители решили?

– Да, родители решили. Сначала для меня это было шуткой, а теперь я вижу, что так оно, кажется, и будет. Я не хотел, чтобы это сделалось известным кому-нибудь, но не особенно горюю, что это узнали вы.

– Я завидую тому, что у вас есть невеста, – тихо сказал он, устремив глаза куда-то вдаль, и глубоко вздохнул.

– Не ждал я от вас такой сентиментальности, Сергей Васильевич.

– Да, я завидую тому, что у вас есть невеста, – продолжал он, не слушая меня. – Завидую чистоте вашей, вашим надеждам, вашему будущему счастью, нерастраченной нежности и любви, выросшей с детства.

Он взял меня за руку, заставил сойти с дивана и подвел к зеркалу.

– Посмотрите на меня и на себя, – сказал он. – Ведь что вы?

Гиперион перед сатиром козлоногим.

Сатир козлоногий – это я. А ведь я крепче вас; кости шире, и здоровье крепче от природы. А сравните: видите вот это? (он слегка коснулся пальцами начинавших редеть на лбу волос). Да, батюшка, все это «жар души, растраченный в пустыне»! Да и какой там жар души! Просто свинство...

– Сергей Васильевич, не вернемся ли мы к прежнему? Почему вы отказываетесь познакомиться меня с моделью?

– Да потому, что она в этой растрате участие принимала. Я сказал вам: не важная особа, и действительно не важная. На нижней ступеньке человеческой лестницы. Ниже – пропасть, куда она, быть может, скоро и свалится. Пропать окончательной гибели. Да она и так окончательно погибла.

– Я начинаю вас понимать, Сергей Васильевич.

– То-то. Видите, какое у меня есть «но»?

– Вы можете оставить это «но» при себе. Почему вы считаете долгом меня опекать и оберегать?

– Я сказал, за что я вас люблю. За то, что вы чистый. Не вы один, вы оба. Вы представляете собой такое редкое явление: что-то веющее свежестью, благоухающее. Я завидую вам, но дорожу тем, что хоть со стороны могу посмотреть. И вы хотите, чтобы я все это испортил? Нет, не ждите.

– Что же это такое, наконец, Сергей Васильевич? Мало вы надеетесь на мою вами открытую чистоту, если боитесь таких ужасных вещей от одного знакомства с этой женщиной.

– Слушайте! Я могу вам дать или не дать ее. Я поступаю согласно своему желанию. Я не хочу вам дать ее. Я не даю. *Dixi*¹.

Теперь он сидел, а я в волнении ходил по ковру.

– А вы думаете, что она подходит?

– Очень. Впрочем, нет, не очень, – резко оборвал он, – совсем не подходит. Будет о ней.

Я просил его, сердился, представлял всю нелепость взятой им на себя задачи охранять мою нравственность, и ничего не добился. Он решительно отказал мне и в заключение сказал:

– Я никогда не говорил два раза «*dixi*».

– С чем вас и поздравляю, – ответил я ему с досадой. Мы поговорили за чаем о каких-то пустяках и разошлись.

¹ Я сказал (лат.).

IV

Я целых две недели ничего не делал. Ходил только в академию писать свою программу на ужаснейшую библейскую тему: обращение жены Лота в соляной столб. Все у меня уже было готово – и Лот и домочадцы его, но столба придумать я никак не мог. Сделать что-нибудь вроде могильного памятника или просто статую Лотовой супруги из каменной соли?

Жизнь шла вяло. Получил два письма от Сони. Получил, прочел ее милую болтовню об институтских порядках, о том, что она читает потихоньку от аргусовских очей классных дам, и присоединил к пачке прежних писем, обвязанных розовой ленточкой. Я завел эту ленточку еще лет пятнадцати и до сих пор не мог решиться выбросить ее. Да и зачем было выбрасывать? Кому она мешала? Но что сказал бы Бессонов, увидя это доказательство моей сентиментальности?

Умилился бы еще раз перед моей «чистотой» или начал бы издеваться?

Однако он не на шутку огорчил меня. Что делать? Бросить картину или опять искать натуру?

Неожиданный случай помог мне. Однажды, когда я лежал на диване с каким-то глупым переводным французским романом и долежался до головной боли и отупения от разных моргов, полицейских сыщиков и воскресений людей, которых смерти хватило бы на двадцать человек, отворилась дверь, и вошел Гельфрейх.

Представьте себе тощие, кривые ножки, огромное туловище, задавленное двумя горбами, длинные, худые руки, высоко вздернутые плечи, как будто выражающие вечное сомнение, молодое бледное, слегка опухшее, но миловидное лицо на откинутой назад голове. Он был художник. Любители очень хорошо знают его картинки, писанные по большей части на один и тот же, слегка измененный сюжет. Его герои – кошки; были у него коты спящие, коты с птичками, коты, выгибающие спину; даже пьяного кота с веселыми глазами за бокалом вина изобразил однажды Гельфрейх. В котах он дошел до возможного совершенства, но больше ни за что не брался. Если в картинке, кроме кошек, были еще какие-нибудь аксессуары – зелень, откуда должны были выглядывать розовый носик и золотистые глазки с узкими зрачками, какая-нибудь драпировка, корзинка, в которой поместилось целое семейство котят с огромными прозрачными ушами, – то он обращался ко мне. Он и на этот раз вошел с чем-то завернутым в синюю бумагу. Протянув мне свою белую и костлявую руку, он положил сверток на стол и стал развязывать его.

– Опять кот? – спросил я.

– Опять... Нужно, видишь ли, тут коврик немножко... а на другом кусок дивана...

Он развернул бумагу и показал мне две небольшие, в поларшина, картинки; фигурки кошек были совсем окончены, но были написаны на фоне из белого полотна.

– Или не диван, так что-нибудь... Ты сочини уж. Надоело мне.

– Скоро ты бросишь этих котов, Семен Иванович?

– Да нужно бы бросить, мешают они мне, очень мешают. Да что же ты поделаешь? Деньги! Ведь вот этакая дрянь – двести рублей.

И он, расставив тонкие ноги, пожал своими и так уже вечно сжатыми плечами и развел руками, как будто хотел выразить изумление, как такая дрянь может находить себе покупателя.

Своими кошками он в два года добился известности. Ни прежде, ни после (разве только на одной картинке покойного Гуна) я не видал такого мастерства в изображении котов всевозможных возрастов, мастей и положений. Но обратив на них свое исключительное внимание, Гельфрейх забросил все остальное.

– Деньги, деньги... – задумчиво повторял он. – И на что мне, горбтому черту, столько денег? А между тем я чувствую, что приняться за настоящую работу мне становится все труд-

нее и труднее. Я завидую тебе, Андрей. Я два года, кроме этих тварей, ничего не пишу... Конечно, я очень люблю их, особенно живых. Но я чувствую, как меня засасывает все глубже и глубже... А ведь я талантливее тебя, Андрей, как ты думаешь? – спросил он меня добродушным и деликатным тоном.

– Я не думаю, – ответил я, улыбнувшись, – а *уверен* в этом.

– Что твоя Шарлотта?

Я махнул рукой.

– Плохо? – спросил он. – Покажи...

И видя, что я, не сходя с места, сделал отрицательное движение головой, он сам пошел рыться в куче старых холстов, поставленных в углу. Потом надел на лампу рефлектор, поставил мою неоконченную картину на мольберт и осветил ее. Он долго молчал.

– Я понимаю тебя, – сказал он. – Тут может выйти хорошее. Только все-таки это Анна Ивановна. Знаешь, зачем я пришел к тебе? Пойдем со мной.

– Куда?

– Куда-нибудь. На улицу. Тоска, Андрей. Боюсь, как бы опять не впасть в грех.

– Ну вот еще, вздор!

– Нет, не вздор. Чувствую, как что-то уже сосет здесь (он показал «под ложечку»). «Я б хотел забыться и заснуть», – неожиданно пропел он жиденьким тенорком. – Я и пришел к тебе, чтобы не быть одному, а то ведь начнешь – на две недели затянется. Потом болезнь. Да, наконец, и вредно это очень... при таком торсе.

Он повернулся два раза на каблуках, чтобы показать мне оба свои горба.

– Знаешь что? – предложил я. – Переезжай ко мне. Я удержу тебя.

– Это бы хорошо было. Я подумаю. А теперь пойдем.

Я оделся, и мы вышли.

Мы долго блуждали по петербургской слякоти. Была осень. Дул сильный ветер с моря. Поднималась кода. Мы побывали на Дворцовой набережной. Разъяренная река пенилась и охлестывала волнами гранитные парапеты набережной. Из черной пропасти, в которой исчезал другой берег, иногда блестела молния, и спустя четверть минуты раздавался тяжелый удар: в крепости палили из пушек. Вода прибывала.

– Я хотел бы, чтобы она еще поднялась. Я не видел наводнения, а это ведь интересно, – сказал Гельфрейх.

Мы долго сидели на набережной, молча вглядываясь в бушующий мрак.

– Она больше не прибудет, – сказал наконец Гельфрейх. – Ветер, кажется, стихает. Мне жаль! Я не видел наводнения... Пойдем.

– Куда?

– Куда глаза глядят... Пойдем со мной. Я сведу тебя в одно место. Меня пугает эта природа с ее чепухой. Бог с ней! Лучше посмотрим человеческую чепуху.

– Где же это, Сенечка?

– Да уж я знаю... Извозчик! – закричал он.

Мы сели и поехали. На Фонтанке, против деревянных, изукрашенных резьбой и пестро расписанных масляной краской ворот Гельфрейх остановил извозчика.

Мы прошли через грязный двор, между двумя длинными двухэтажными корпусами старинной постройки. Два сильных рефлектора кидали нам в лицо потоки яркого света; они были повешены по сторонам крыльца, старинного, но тоже обильно украшенного пестрою деревянною резьбою в так называемом русском вкусе. Впереди нас и сзади нас шли люди, направлявшиеся туда же, куда и мы, – мужчины в меховых пальто, женщины в длинных дипломатах и пальмерстонах из претендующей на роскошь материи: шелковые цветы по плисовому полю, с боа на шеях и в белых шелковых платках на головах; все это входило в подъезд и, поднявшись на несколько ступенек лестницы, раздевалось, обнаруживая по большей части жалко-роскош-

ные туалеты, где шелк заменяла наполовину бумага, золото – бронза, бриллианты – шлифованное стекло, а свежесть лица и блеск глаз – цинковые белила, кармин и тердесьен.

Мы взяли в кассе билеты и вступили в целую анфиладу комнат, уставленных маленькими столиками. Душный воздух, пропитанный какими-то странными испарениями, охватил меня. Табачный дым, вместе с запахом пива и дешевой помады, носился в воздухе. Толпа шумела. Иные бесцельно бродили, иные сидели за бутылками у столиков; тут были мужчины и женщины, и странно было выражение их лиц. Все притворялись веселыми и говорили о чем-то: о чем – бог весть! Мы подсели к одному из столиков. Гельфрейх спросил чаю. Я мешал его ложечкой и слушал, как рядом со мною низенькая, полная брюнетка, с цыганским типом лица, медленно и с достоинством, с сильным немецким акцентом и с каким-то оттенком гордости в голосе, отвечала своему кавалеру на его вопрос, часто ли она здесь бывает:

– Я бываю здесь один раз в неделю. Я не могу часто бывать, потому что нужно в другое место. Вот как: третий день я была в Немецком клубе, вчера в Орфеуме, сегодня здесь, завтра в Большой театр, послезавтра в Приказчиный, потом в оперетту, потом Шато-де-флер... Да, я каждый день где-нибудь бываю: так и проходит *die ganze Woche*².

И она гордо посмотрела на своего собеседника, который даже съежился, услышав столь пышную программу удовольствий. Это был белобрысый человек лет двадцати пяти, с узким лбом, с нависшею на него гривкою, с бронзовою цепочкой. Он вздохнул, робко глядя на свою великолепную даму. Увы, где ему, скромному апраксинскому приказчику, преследовать ее из дня в день по клубам и кафешантанам?

Мы встали и пошли бродить по комнатам. В конце анфилады их широкая дверь вела в зал, назначенный для танцев. Желтые шелковые занавески на окнах и расписанный потолок, ряды венских стульев по стенам, в углу залы большая белая ниша в форме раковины, где сидел оркестр из пятнадцати человек. Женщины, по большей части обнявшись, парами ходили по зале; мужчины сидели по стенам и наблюдали их. Музыканты настраивали инструменты. Лицо первой скрипки показалось мне немного знакомым.

– Вы ли это, Федор Карлович? – спросил я, трогая его за плечо.

Федор Карлович обернулся ко мне. Боже мой, как он обрюзг, опух и поседел!

– Да, я – Федор Карлович, и что же вам угодно?

– А помните, в гимназии?.. Вы приходили со скрипкой на уроки танцев.

– А! Я и теперь сижу там, на табуреточке, в углу залы. Я помню вас... Вы вальсировали очень ловко...

– Давно вы здесь?

– Вот третий год.

– Вы помните, как один раз вы пришли рано и в пустой зале сыграли элегию Эрнста? Я слышал.

Музыкант блеснул своими заплывшими глазами.

– Вы слышали? Вы слушали? Я думал, что меня никто не слышит. Да, я иногда играл... Теперь не могу... Теперь здесь; на Масленой, на Пасхе – день в балаганах, вечер здесь... (Он помолчал.) У меня четыре сына и одна дочь, – промолвил он тихо. – И один мальчик в этом году кончает *Annen-Schule* и поступает в университет... Я не могу играть элегии Эрнста.

Капельмейстер взмахнул смычком несколько раз; оглушительно дернул тощий и громкий оркестр какую-то польку. Капельмейстер, помахав такта три-четыре, сам присоединил свою визгливую скрипку к общему хору. Пары завертелись, оркестр гремел.

² Вся неделя (нем.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.